

Николай Добролюбов

**Повести и рассказы С. Т.  
Славутинского**



Николай Александрович Добролюбов

## Повести и рассказы С. Т. Славутинского

«...Г. Славутинский не возвышается над многими из предшествовавших простонародных рассказчиков силою художественного таланта, а некоторым из них уступает. Но преимущество его заключается в другом, именно в самом отношении его к предмету, за который он берется. Здесь имеет он ту особенность, что говорит постоянно так, как взрослый человек должен говорить со взрослыми людьми о серьезном деле. Он не подлаживается ни к читателям, ни к народу, не старается, применяясь к нашим понятиям, смягчить перед нами грубый колорит крестьянской жизни, не усиливается непременно создавать идеальные лица из простого быта...»

**Николай Александрович  
Добролюбов  
Повести и рассказы С. Т.  
Славутинского**

*Москва. 1860.*

[Лет семь][1] тому назад была большая мо-  
да на повести из простонародного быта,  
и по этому случаю глубоких критиков наших  
занимал тогда вопрос: «Может ли простона-  
родная жизнь быть введена собственно в ли-  
тературу, без всякого ущерба для истины, цве-  
та и значения своего?» Один из глубокомыс-  
леннейших тогдашних критиков решил этот  
вопрос отрицательно на том основании, что  
«искусство имеет свои незыблемые правила,  
сохранение которых рядом с случайным,  
жестким ходом жизни – невозможно; ибо ка-  
кая есть возможность произвести эстетиче-  
ский эффект и в то же время целиком выста-  
вить быт, мало подчиняющийся вообще эф-  
фекту?»[2] Воззрение это до сих пор тайком  
сохраняется некоторыми и еще недавно вы-  
разилось, например, осуждением всех коме-  
дий Островского, как противных условиям ис-  
кусства и слишком уж близких к жизни. Лю-  
бопытствующие могут еще долго, вероятно,  
любоваться, как это воззрение через непра-  
вильные промежутки продолжает проры-  
ваться грязным вулканом в «Нашем време-  
ни»[3]. Но что странно до неприличия в наше

время, то было очень простительно семь лет тому назад, и мы вполне оправдываем глубокомысленного критика, вспомнивши о его затруднительном положении в виду простонародных рассказов того времени.

Нужно вам сказать о происхождении тогдашней страсти к подобным рассказам, чтобы вы удобнее могли понять, почему мы критика считаем правым и даже весьма пронизательным в этом случае.

Семь лет тому назад о крестьянском вопросе не было и помину, следовательно рассказы о жизни крестьян (разумеется, без всякого отношения к их юридическим правам, или, правильнее сказать, обязанностям) никого не могли задевать за живое, никому не досаждали. А все другое в то время казалось очень сомнительным и встречалось [с большим недоброжелательством известною частью публики, от которой преимущественно зависит процветание русской литературы]. Чтобы никого не раздражать, русские писатели изобрели было тогда особенный какой-то, даже не *средний*, а скорее *общий* род людей, которых звание, общественное значение, со-

словные отношения и проч. оставлялись на догадку читателя, а изображалось только любящее сердце и мечтательное воображение. Но и тут выходила часто неудача. Изображен, например, в повести герой совершенно без всякого звания, и так искусно, что следов нельзя найти: не помнящий родства, да и только. Но вздумается же автору заметить в одном месте, что герой крутил себе ус; а в другом месте сказано, что он в танцах платье у дамы оборвал: сейчас же офицеры и раздражаются, – мундир, дескать, наш марают. И неосторожный автор наживает хлопот... В этой-то крайности и решились наконец к мужикам обратиться; тех, дескать, как хочешь описывай: они не прочитают, а кто прочитает, так тот не обидится и на свой счет не примет. Зато уж и досталось же бедным мужичкам! За несколькими писателями, действительно наблюдавшими народную жизнь, потянулись целые толпы таких сочинителей, которым до народа и дела-то никогда не было, и думушки-то о нем в голову не приходило, а теперь довелось писать о нем. Говорят, в то время «Сказания русского народа» Сахаро-

ва и «Пословицы» Снегирева поднялись в цене, и даже «Быта русского народа» Терещенка разошлось несколько экземпляров[4]. С помощью таких источников из русского народного быта стали отхватывать драматические представления на манер пословиц Альфреда Мюссе и рассказы в самом беспримерном роде. Тогда-то обратили на себя общее внимание гг. Данковский, Лазаревский, Мартынов и многие им подобные. Тогда-то г. Потехин сочинил «Крестьянку», г. Михайлов «Ау» и «Африкана», г. Мей – «Кириллыча», тогда-то принялись за изображение простого быта даже такие писатели, которые до того были насквозь пропитаны духом классической древности или полусветских салонов: так г. Майков произвел тогда «Дурочку Дуню», а г. Авдеев ухитрился изобрести «Огненного змия»[5]. Словом, простонародная повесть точно так же обуяла тогда литературу, как в 1856 и следующих годах обличительные рассказы о взяточниках. Но разница была в том, что крестьянские повести были настолько же деликатны, насколько обличения невежливы.

К мужикам тогда приступали с тою же ма-

нерою, как и ко всем другим членам общества, то есть заставляли их постоянно прикидываться не помнящими родства... Как мужик с своей деревней связан, кем управляется, какие повинности несет, чей он и как с барином, с управляющим, с окружным или с исправником ведается – это вы могли открыть весьма в редких случаях, – именно, когда попадался вам идеальный управляющий, как в «Крестьянке», или идеальный исправник, как в «Лешем», например... [6] Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повествователями, а бралось, без дальних справок, сердце человеческое, и так как для него ни чинов, ни богатств не существует, то и изображалась его чувствительность у крестьян и крестьянок. Обыкновенно герои и героини простонародных рассказов стогрели от пламенной любви, мучились сомнениями, разочаровывались – совершенно так же, как «Тамарин» г. Авдеева [или «Русский Черкес» г. Дружинина]. Разница вся состояла в том, что вместо: «я тебя страстно люблю; в это мгновение я рад отдать за тебя жизнь мою», они говорили: «я тея страх как люблю; я таперича за



тея жисть готов отдать». А в прочем, все обстояло, как следует быть в благовоспитанном обществе: у г. Писемского одна Марфуша даже в монастырь ушла от любви, не хуже Лизы «Дворянского гнезда»[7].

В виду таких-то данных, вышеупомянутый критик и произнес свое решительное суждение о невозможности примирить истину простонародного быта с *незыблемыми* законами искусства. [И действительно: законы искусства требуют, чтобы в повести или драме строго и естественно развивалось содержание само из себя и представляло внутреннюю борьбу в человеке каких-нибудь двух начал; а жизнь наших мужиков совершенно зависит от случайностей разного рода – от наезда станового, от расположения духа управляющего, от болезней барской собаки или лошади, от нетрезвости земского и т. п., и, кроме того, внутренней борьбы в них никакой нет, потому что они, видите ли, «находятся еще в первобытной непосредственности». Что прикажете делать искусству в таком затруднительном случае? Семь лет тому назад проницательный критик не мог придумать другого

разрешения, как] отказаться искусству от полного воспроизведения действительности простонародного быта.

Но повернулось дело иначе. Пряничные и кукольные фигуры мниморусских людей, произведенные по нужде тароватыми мастерами, тотчас же брошены и забыты, как только явилась возможность смелее заглядывать в другие сферы общества, более знакомые пишущему сословию и более близкие читающей публике. Пошли изображать чиновников, офицеров, откупщиков, помещиков, и крестьяне стали являться в повестях только уже по своим отношениям к этим сословиям. Но в это-то самое время, когда повествователи всего менее заботились о мужике, и подошла незаметно пора настоящих рассказов из народной жизни.

Крестьянский вопрос заставил всех обратить внимание на отношения помещиков и крестьян. Литература хотела тотчас принять посильное участие в разрешении вопроса и, между прочим, принялись было за путь беллетристической обработки существующих фактов. Но вскоре [было соображено, что в

минуту серьезного и мирного рассуждения о деле, не деликатно болтать о фактах, выстав- ляющих одну сторону в нехорошем виде и мо- гущих раздражать ее напоминаниями про- шлого, которое должно уже скоро кончиться. И так] этот предмет был беллетристикою оставлен в покое; но не могла быть оставлена без внимания жизнь крестьян и существую- щие условия быта их. Разъяснение этого дела стало уже не игрушкой, не литературной при- хотью, а настоятельною потребностью време- ни. Без всякого шума и грома, без особенных новых открытий, взгляд общества на народ стал серьезнее и осмыслился несколько про- сто от предчувствия той деятельной роли, ко- торая готовится народу в весьма недалеком будущем. Вместе с тем появились и рассказы из народного быта, совершенно уже в другом роде, нежели какие являлись прежде. До сих пор их явилось еще очень немного, и к числу этих немногих принадлежат рассказы г. Сла- вутинского, на которые мы хотим теперь об- ратить внимание наших читателей.

Г. Славутинский не возвышается над мно- гими из предшествовавших простонародных

рассказчиков силою художественного таланта, а некоторым из них уступает. Но преимущество его заключается в другом, именно в самом отношении его к предмету, за который он берется. Здесь имеет он ту особенность, что говорит постоянно так, как взрослый человек должен говорить со взрослыми людьми о серьезном деле. Он не подлаживается ни к читателям, ни к народу, не старается, применяясь к нашим понятиям, смягчить перед нами грубый колорит крестьянской жизни, не усиливается непременно создавать идеальные лица из простого быта. Он не считает нужным и щегольнуть сочувствием к простому классу, которое с таким самодовольством старались выставить напоказ некоторые из прежних, даже талантливых писателей: «Вот, мол, я какой добрый, — как снисходительно мужиков расписываю; а стоят ли они этого?» Напротив, г. Славутинский обходится с крестьянским миром довольно строго: он не щадит красок для изображения дурных сторон его, не прячет подробностей, свидетельствующих о том, какие грубые и сильные препятствия часто встречаются в нем доброе намере-

ние или полезное предприятие. Но, несмотря на это, признаемся, рассказы г. Славутинского гораздо более возбуждают в нас уважение и сочувствие к народу, нежели все приторные идиллии прежних рассказчиков. Те, бывало, смотря на народ с высоты своего величия, великодушно старались обойти его недостатки и выставить только хорошие стороны; они рассчитывали возбудить в читателях сожаление, благосклонность к низшему сословию и трактовали его с той обидной ласковостью, которая обыкновенно происходит от уверенности в неизмеримом превосходстве собственном. Так обращаются иногда с маленькими детьми, больными, сумасшедшими: оставляют их говорить и делать глупости, капризничать, спорить, соглашаются с ними для виду, даже в некоторых случаях подчиняются их требованиям... Такое обращение бывает, впрочем, ужасно обидно для детей, начинающих приходить в сознание, и для здоровых людей, которых другие считают больными или поврежденными и потому не хотят принимать серьезно. Не особенно приятно было и подобное отношение писателей к на-

роду для людей, действительно сочувствовавших ему и понимавших его жизнь. Оттого-то так и приятно видеть то мужественное, прямое и строгое воззрение на простой народ, какое выражается в рассказах г. Славутинского. Он говорит о мужике просто, как о своем брате: вот, говорит, он каков, вот к чему способен, а вот чего в нем нет, и вот что с ним случается, и почему. Читая такой рассказ, и действительно становишься в уровень с этими людьми, входишь в их обстоятельства, начинаешь жить их жизнью, понимать естественность и законность тех или других поступков, рассказываемых автором. И несмотря на то, что многое признаешь в них грубым и неправильным, все-таки начинаешь более ценить этих людей, нежели по прежним, сахарным рассказам: там было высокомерное снисхождение, а здесь вера в народ. Так обыкновенно стараются расхваливать приятеля, которого считают ниже себя и которому нужно еще составить репутацию; но человека, которого вы признаете равным вам и которого значение и известность уже утверждены, вы разбираете спокойно, смело и беспристрастно.

Впрочем, приторное любезничанье с народом и насильная идеализация происходили у прежних писателей часто и не от пренебрежения к народу, а просто от незнания или непонимания его. Внешняя обстановка быта, формальные, обрядовые проявления нравов, обороты языка доступны были этим писателям, и многим давались довольно легко. Но внутренний смысл и строй всей крестьянской жизни, особый склад мысли простолюдина, особенности его мирозерцания – оставались для них по большей части закрытыми. Вот отчего нередко писатели, даже хорошо изучившие народную жизнь, вдруг переносили в нее отвлеченную идею, зародившуюся в их голове и обязанную своим началом вовсе не народному быту, а тому кругу, в котором жили сами писатели. Выходила *народность* в том же роде, какая была в народных песнях, сочиненных Нелединским-Мелецким и Дельвигом. В их время было в употреблении нежное воркованье любящихся и томная задумчивость; целиком перешло это и в народные песни, в которых красная девица по целым дням сидит в грусти на бережку, поджидаячи

милого, а добрый молодец, которого «погубили злые толки», хочет от них в лес бежать. Авторы, очевидно, не предполагали, что у красной девицы есть работа дома, либо на поле, и что если молодец убежит в лес, то его поймают, и с ним поступлено будет, как с бродягою. Подобным образом, – в эпоху появления простонародных повестей, – было в ходу «оставление собственного я в разрез с окружающей действительностью» и анализ тонких душевных ощущений; то же самое пошло и в повестях простонародных: большею частью брался простолюдин или простая женщина, как-нибудь напивавшиеся не теми понятиями, которые господствуют в окружающей их среде, и затем он или она начинают страдать и анализировать себя или предоставляют анализ самому автору; поводом к страданию обыкновенно служит любовь к неровне, и тут уже романтизм в полном ходу. Все это теперь представляется очень забавным, но в то время читалось и даже нравилось, потому что скрашивалось талантливym изложением и верно скопированными подробностями внешней обстановки. Действительно, талант



и наблюдательность авторов поражали читателей до того, что искусственность и натянутость общей постройке повести редко кому была в глаза. Но при этой натянутости, сделавшейся общим свойством простонародных повестей тогдашних, они никак не могли приобрести прочного значения. Натянутость эта происходила – частью от робости авторов, боявшихся выставлять целиком всю жизнь простонародья, как она есть, частью же прямо от непониманья внутреннего смысла этой жизни и ее отношений ко всем другим явлениям русского быта. Поэтому только с обращением большего внимания на все стороны быта низших классов и с уяснением их значения в государственной жизни народа возможно было ожидать более полного и жизненно-го, естественного воспроизведения народного быта в литературе. Теперь время подошло к этому, и начатки такого воспроизведения мы видим в рассказах г. Славутинского. В повестях его мы видим не отрывочное знание той или другой особенности жизни, – какого-нибудь обряда, обычая, приметы, причитанья или поговорки; нет, в них находим мы пол-

ный пересказ наблюдений над целым строем жизни и, кроме того, понимание ее сокровенных тенденций и принципов, нигде и никем не высказанных, но постоянно проявляющихся на деле. Этим пониманием сущности дела, а не одной его внешности, особенно силен г. Славутинский. Оно придает ему то спокойствие и уверенность, с которыми он всегда ведет свой рассказ; видно, что предмет, за который он взялся, вполне находится в его распоряжении. Владея такими данными, человек с сильным поэтическим талантом мог бы, конечно, создать художественное целое, мог бы дать прочную, типическую жизнь лицам, которых выводит, мог бы сделать свои повести настолько же выше предшествовавших попыток, насколько песни Кольцова выше романсов Дельвига и Мелецкого. Но для этого, кроме знания и верного взгляда, кроме таланта рассказчика, нужно еще многое другое: нужно не только знать, но глубоко и сильно самому почувствовать, пережить эту жизнь, нужно быть кровно связанным с этими людьми, нужно самому некоторое время смотреть их глазами, думать их головой, же-

лать их волей; надо войти в их кожу и в их душу. Для всего этого человеку, который не вышел действительно из среды их, нужно иметь в весьма значительной степени дар – примеривать на себе всякое положение, всякое чувство и в то же время уметь представить, как оно проявится в личности другого темперамента и характера, – дар, составляющий достояние натур истинно художественных и уже незаменимый никаким знанием.

Взамен этого исключительного дара мы находим у г. Славутинского верный такт действительности, помогающий ему очень легко и искусно выбирать и располагать отдельные черты его рассказов. Руководясь этим тактом, он не позволяет себе ни малейшей фальши в представлении действительности и, с помощью его же, приходит иногда к таким идеальным чертам, даваемым самою жизнью, каких никогда не могли придумать прежние, салонно-простонародные рассказчики наши.

Мы, против обыкновения нашего, говорим о произведениях г. Славутинского в общих чертах, не представляя частных указаний, доказательств и выписок; это потому, что мы

надеемся на памятьливость наших читателей: две повести г. Славутинского «Своя рубашка» (названная в отдельном издании менее затейливо: «Чужая беда») и «Трифон Афанасьев» – были помещены в «Современнике» прошлого года[8], и читатели собственным впечатлением могут проверить наши слова. Впрочем, мы, с своей стороны, готовы, в подтверждение своих мнений, сказать несколько слов еще об одной повести г. Славутинского, «Читальщица», довольно давно уже помещенной в «Русском вестнике»[9] и теперь тоже перепечатанной в книжке «Повестей».

В «Читальщице» мы видим действующими лица из разных сфер: отец Татьяны-читальщицы, Нахрапов, – управляющий откупом, купец из крестьянского рода, впрочем; воспитывается она у старушки генеральши Медынской; учит и образует ее старик, учитель уездный, известный в городе под именем *Сенеки*; под конец живет она в деревне, с своим дедом, дряхлым, спившимся стариком. Таким образом, различные сферы соприкасаются здесь одна с другой, и автор относится ко всем им с полным беспристрастием. Дед

Татьяны и отец ее изображаются в очень сжатом очерке таким образом (стр. 31–36):

*Отец ее, Андрей Несторов Нахрапов, был свободный хлебопашец села Л. Как многие крестьяне этого села и других окрестных селений, Андрей с малолетства пошел по «питейной части». Отец его, Нестор Савинов, тоже большую часть жизни своей провел, служба по кабакам да в питейных конторах. Впрочем, старший Нахрапов, когда сын его последовал родительскому примеру, уже несколько времени как оставил питейную часть: ему не повезло как-то напоследок, он чуть было не сгнил в остроге за чересчур уже рискованное дельце, а потому и решился домаячить свой век дома, в родном уголку. И стал Нестор Савинов – ему было тогда лет около сорока – жить да поживать приобретенным всячески прибытком, размахисто погуливая на вольные денежки и нисколько их не сберегаючи. «Будет смышлен Андрюшка, – говаривал он, – и сам деньгу наживет, а я для него не работник. Вишь ты: не задалось мне в хорошие люди выйти, хотя я и не хуже кого другого*

из нашей братии умом да хитростью раскидывал. Ведь чего-чего ни принял я на своем веку: и побоев, и страху разного, и больно много всяких трудов и скорбей, да и греха довольно-таки на душу прихватил... А что, много, что ль, нажитку у меня осталось?.. так, пустяки сущие... Но что мое, то мое. Я наживал, я сам и проживу, а Андрюшке, дураку эдакому, ничего не оставлю; да ему такие деньги и впрок, пожалуй, не пойдут. Пускай – как пришли, так и уходят!.. И того для Андрюшки довольно, что я его родил да вот дорогу широкую указал. Чего же еще больше-то?..»

Такие рассуждения Нестор Савинов совершил самым делом, а потому сын его, Андрюшка, с одиннадцатилетнего возраста стал жить на чужой стороне, один-одинехонек, без присмотра, без призора. Много обид и горя он вытерпел, много всякого зла увидел и научился помаленьку, но крепко-накрепко, многим дурным делам. Он имел ум быстрый, сметливый, хитрый, предприимчивый, а нрав – скрытный, смелый до дерзости, необыкновенно упор-

ный и жестокий; совести же он совсем не имел. Лгать всегда и перед всеми, обманывать и обкрадывать всякого, кто входит с ним в какие-либо сношения, поступать таким образом иной раз и не из корысти, а из какого-то особенного удовольствия, для практики, как он выражался, вот в чем заключалась вся жизнь Андрея Несторова Нахрапова, вот в какой сфере вращались все его стремления, надежды и действия. Он чрезвычайно скоро постиг всю грамоту и весь смысл той глубоко растленной среды, которая у нас в народе слывет под названием питейной части. Двадцати двух лет от рождения он уже управлял откупом в каком-то уездном городке, где, впрочем, недолго пробыл. С тех пор он занимал всегда должности управляющих или главных ревизоров по большим откупам. Впрочем, часто, очень часто, приводилось ему менять места и хозяев, и почти нигде добром он не оканчивал: то на него, бывало, насчитывали, то он насчитывал, то у него имущество задерживали, то он захватывал чужое имущество. В таких слу-

чаях всегда заводились дела тяжёбые; дела эти тянулись, путались, перепутывались, но постоянно шли как-то в пользу Нахрапова: он из воды сух выходил, а все потому, что со всяким чиновным людом завсегда старался жить как можно лучше, не жалел для этого хозяйских денег и хозяйских водок. Все решительно чиновники, начиная с мелкого приказного полицейских и судебных мест и доходя до самого судьи, заступающего иногда в уезде место представителя благородного сословия, находились у него на жалованье, и все эти признательные чиновники за благостыню, перепавшую им от Нахрапова, готовы были при случае всячески помогать такому ловкому человеку. Впрочем, все такие процессы оканчивались обыкновенно мировыми, и часто обманутые Нахраповым хозяева-откупщики считали совершенно необходимым не только вновь приглашать, но даже всячески переманивать его к себе на службу. Упомянем здесь хоть мимоходом о тех блистательных качествах Нахрапова, которые делали его столь драгоценным для от-



купных дел. Никто лучше его не мог залить соседнего или управляемого им самим откупа, когда этот откуп по новым торгам должен был поступить через два-три месяца к другому откупщику и когда новый откупщик, по неопытности или по скупости, не принимал от прежнего содержателя, по особой сделке с ним, в заведование свое все откупные дела, еще до окончания срока содержания. Никто лучше Нахрапова не умел сдать в казенное управление дурно идущего откупа. Никто проворнее и ловчее его не спускал с рук ненужного больше разиню-партнера в откуп, заставив его наперед опорожнить свой карман для разных пожертвований, необходимых будто бы для поддержания откупного дела. Никто смелее и удачливее его не провозил в откуп дешевого контрабандного вина с винокуренного завода какого-нибудь прогрессиста-барина. Никто, при случае, не был жесточе Нахрапова в преследовании дерзких крестьян-корчемников, посягающих на покупку себе винца подешевле...

Но расскажем, также вкратце, и о

том, как именно происходили мировые между Нахраповым и обманутыми им хозяевами. При таких великолепных случаях обыкновенно шел пир горюю и великодушие обеих сторон выказывалось в широких размерах. Хозяин, подпивши и обнимаясь с мошенником, но нужным ему для известных целей человеком, говаривал, бывало, громогласно в таких выражениях: «Ну, бог тебя простит! Надул ты меня, разбойник ты эдакой, важно надул! Да и то сказать, сам я виноват, не вспомнил вовремя одиннадцатую заповедь: «не зевай». Ну, поцелуемся же... Теперь, брат, заживем мы с тобой душа в душу. Я ведь на тебя крепко надеюсь»... А нужный человек, конечно, никогда не забывающий одиннадцатую заповедь, целовал обыкновенно своего патрона и в плечо, и в локоть, и в грудь, слезы даже иногда при этом выдавливал из глаз да приговаривал тихонько, так, однако, чтобы никто, кроме патрона, не слышал его объяснений: «Виноват, благодетель! враг попутал, нужда смертная была... А вот тепереча, да на сем же мне месте провалиться и

*пусть глаза мои лопнут, если пощечусь хоть на волос от вашей милости... Да я век буду помнить... благодетель вы мой великий!.. А вот насчет-то дельца»... и прочее, все в таком же роде.*

Как видите, выставлены перед вами два человека простого звания, не очень привлекательные; но это еще ничего в сравнении с тем, что развивается дальше, в истории отца Татьяны. Он влюбляется в одну мещанскую девушку, хочет соблазнить, но, не успев, решается жениться на ней; для успеха сватовства опять употребляет разные хитрости, действуя особенно на набожную и бестолковую генеральшу Медынскую, крестную мать девушки, через ее духовника. Девушку почти принуждают выйти за Андрея Несторыча, и между тем вскоре после свадьбы он начинает пилить свою жену – зачем она унылый вид имеет и хворает часто. «Вот не было печали, так черти – накачали! Кабы вовремя знанье да веданье! Экую жар-птицу подхватил себе!» и пр. в этом роде беспрестанно говорит он в глаза жене своей, и та, разумеется, сохнет еще

больше. Родивши дочь, Таню, она окончательно сделалась больна; Андрей Несторыч бросил ее и завел себе Марфу – девушку, которую он соблазнил и над которой потом надругался не в пример хуже, чем над женой своей. Скоро жена его умерла, и перед смертью ее он пришел в порывистое, исступленное раскаяние и обещал, по ее желанию, отдать Таню на воспитание к Медынской. Обещание это он исполнил, а сам между тем продолжал прежнюю жизнь. Но теперь в нем проявилось новое настроение: он был вечно недоволен и озлоблен, и то, что прежде делал из расчета, с самодовольным наслаждением корысти, то теперь стал делать с неудержимыми порывами злости, с какой-то болью души. Он чаще и чаще стал обращаться к прошедшему, припоминать все, что вытерпел и что заставил других потерпеть, припоминал жену свою, и тоска его еще увеличивалась, Заглушалась она только диким, неистовым разгулом, в котором он доходил до крайней степени мрачного исступления, до забытья, в котором то воображал себя судьей над товарищами, то жертвою, осужденною на казнь; иногда он застав-

лял даже отпевать себя, и ночью носили его в гробу с похоронным пением по отдаленным улицам города! Но чаще всего срывал он зло на своей Марфе; придравшись к чему-нибудь, он ругал ее и потом бил нещадно – за все, про все, за взгляд, за слово, за молчание, за печаль, за веселость; а потом, избив страшно, требовал, чтобы она плясала и тешила его самого и гостей. А между тем он любил эту женщину, да и она, несмотря ни на что, была к нему страстно привязана.

Во всем этом чрезвычайно много правды, и взгляд автора на основу характера этого лица совершенно верен. Это одна из сильных русских натур, хорошая в основе, но безмерно жадная до жизни и между тем не имеющая средств удовлетворить своей жадности. Обстоятельства толкнули его в самый омут разврата, прежде чем он еще умел понять, где добро и где зло, и он не пассивно погрузился, но деятельно принялся нырять в этом омуте. Но когда он утомился, силы стало меньше, дела пошли потише, да тут еще и жена-то сгубла по его милости, – ему стало нехорошо на душе, и пришло время оглядки на себя,

пришла тоска по напрасно растроченным юным силам, по безумно загубленной жизни. Но, разумеется, он не только не хотел в этом признаться, он даже не понимал истинного свойства и причины своей хандры, оттого и старался топить ее в разгуле и пьянстве. Все это очень верно соображено и замечено автором, и нам кажется, что именно такие характеры, с такими результатами гораздо более общи и близки русской жизни, нежели, например, хотя бы питерщички г. Писемского[10]. Но в то же время мы должны заметить, что у г. Славутинского сделан лишь намек на развитие этого характера; но не проведен он полно и последовательно, не сделан художнически цельно; оттого-то, разумеется, большинство читателей пропускают без внимания это лицо, не заметив даже основы этого характера. Между тем в художественной обработке и при таком знании дела, какое видим мы у г. Славутинского, Андрей Нахрапов мог бы составить особенный тип в нашей литературе.

Но, обращая внимание на художественный недостаток в обрисовке характера, мы должны указать и на жизненную правду в по-

становке этого лица. Автор не забыл влияния среды, в которой Нахрапов родился и вырос, и вы, сквозь все гадости, делаемые этим героем, видите, однако, что сам по себе он мог бы быть и не таков, но все окружающее его было таково, что для успеха в нем неглупому человеку только и надо было – совести не иметь. И хоть слабо развито это в повести, но все же заметно в ней участие другой силы, которая тянет Нахрапова на постыдный путь. Так, между прочим, является мимоходом Нил Александрович, барин-откупщик, с изящною важностью, с большим значением в аристократическом губернском кругу, и как ни ужасен Нахрапов, но читатель инстинктом чувствует, что этот грубый злодей никогда не может дойти до такого гнилого безобразия, как этот Нил Александрович. Жаль только, что в повести и это опять-таки не развито с тою живою обстоятельностью, которая имеет такое значение в произведениях наших писателей-художников. Вообще действие в повестях г. Славутинского идет чрезвычайно быстро; он идет прямо вперед, не смотря по сторонам и не останавливаясь на второстепенных об-

стоятельствах. Только заключительные сцены, особенно трагического свойства, обрисовываются у него полнее и обстоятельнее. Так, в «Читальнице» остановился он над изображением последних дней раскаявшегося Нахрапова. Нахрапов, пьяный, в дороге убил Марфу, совершенно ненамеренно; чтоб скрыть преступление, он, с помощью кучера и сопровождавшего его поверенного по откупу, свидетелей дела, зарыл Марфу подле дороги в леску, и сам же, по возвращении в город, поднял дело о ее безвестной пропаже. Полиция, знавшая и Нахрапова и Марфу, употребила все усилия к розысканию, но ничего не могла узнать; через полгода, весною, когда найдено было тело Марфы, опять было следствие, и опять безуспешное. Но на этот раз стали ходить какие-то слухи, неблагоприятные Нахрапову; а еще год спустя один из служителей откупа, обиженный Нахраповым, нашел средство опять поднять дело, и началось третье следствие, которое усилило прежние подозрения. Два года тянулось это дело; Нахрапов почти разорился на ведение его, и, наконец-таки, кончалось оно в его пользу,



как вдруг он, истомленный и отчаянный, решился сам во всем признаться. Признание это было так неожиданно для всех, что его могли объяснить только расстройством рассудка Нахрапова, и Нил Александрович даже настоял, чтоб его подвергли освидетельствованию в присутствии губернских властей. При этом свидетельстве Нахрапов выразил изумление, каким образом его искреннее признание могло заставить думать, что он сошел с ума, и прибавил, что ведь не всякий же способен до конца жизни гневить бога нераскаянно. Этими ответами остался очень недоволен губернатор и приказал написать в протоколе, что Нахрапов признан «совершенно» неповрежденным в уме, и слово «совершенно» подчеркнул собственноручно.

Тут-то и посадили Нахрапова в острог, и тут начинаются его сцены с дочерью. Дочь его, Таня, росла все время в доме старухи Медынской, пользовалась ее ласками, но, к счастью, была удалена от влияния приживалок и дворни, находясь под особенным попечением старика учителя *Сенеки*. Это был добрый и честный человек, скромный и убогий,

но неутомимый и бескорыстный деятель в своей среде, насколько сил его хватало... Он рассуждал: «Коли уж я живу в мире, так всякое дело мирское – мое дело. Хорошее оно – надо его поддержать, не выпускать его из глаз; дурное – надо попробовать, не уступит ли оно место хорошему». Разумеется, действовать приходилось ему в очень узенькой сфере, и средств у него не было, и потому пробы его против дурных дел ограничивались одними увещаниями; а много ли же можно сделать увещанием? Но на людей простых и юных он мог действовать благотворно, и под его-то влиянием развилась Таня. *Сенека* убедил *Медынскую*, что Тане не нужно никакого особенного образования, что он один может всему ее выучить, и с ранних лет стал он ее готовить на подвиг жизни. Будучи отчасти мистиком, он толковал ей о высокой цели и особенном назначении ее, приготавливал ее к самоотвержению и труду на пользу общую. И Таня действительно готовилась на труд и горе и привыкла считать чем-то должным и неизбежным все тяжелые и неприятные происшествия своей жизни. А жизнь ее, разуме-

ется, протекала не весело в доме Медынской: сама старуха была уже дряхла и почти ничего не понимала; а разные приживалки и прислуга смотрели на Таню с пренебрежением. Она беспрестанно вспоминала о судьбе матери; деяния отца также не были от нее скрыты, хотя он очень редко с нею виделся и совершенно ни о чем не рассказывал ей и ее не расспрашивал. Даже после смерти Медынской он сам пожелал, чтоб она лучше взяла комнатку у старика учителя, а не переходила к нему. Он как будто боялся выказать себя перед нею, да и дела его в это время были уж очень плохи. Он пришел к ней только в ту минуту, когда задумал признаться в убийстве, и ей первой открыл свое преступление. А потом, после губернаторского решения, его посадили в острог, и Таня к нему ходить начала. Сначала он оскорблялся тем, что вот родная дочь его по состраданию навещает, и был молчалив и суров, но потом смягчился и даже стал с ней нежен. Скоро он умер в остроге; его предсмертное состояние изображено довольно живо, равно как и впечатление, произведенное его смертью на Татьяну. Схоронивши

его, Татьяна решилась посвятить себя одинокой и трудовой жизни. Сложения она была слабого и болезненного, и потому ей не трудно было отказаться от супружеского счастья; но она не пошла в монастырь, чтоб там укрыться от житейских треволнений. Ее идеал был в другом роде: она осталась сначала у Сенеки – учить маленьких детей; потом отыскала старого своего деда, который, спившись, начал уже побираться по миру, и уехала в деревню – жить с ним и ухаживать за ним. Она поддерживала его и себя своими трудами: зимой и в ненастье шила она *бабьи* наряды, весной ходила работать в огороды, а летом на сенокос. Сначала эти работы утомляли ее, но мало-помалу она свыклась с ними. Кроме того, она учит крестьянских детей грамоте, лечит больных, чему выучилась тоже у Сенеки, и ходит читать псалтырь по умершим, за что и названа читальщицей. За труды свои она ничего не просит, но принимает вознаграждение, какое дадут; только за чтение псалтыря ничего не берет она, искренне веруя, что этим заслужит отпущение грехов отца своего...

Таков идеальный характер, найденный г. Славутинским в глуши русской жизни. Он едва намечен, в рисунке его нет той художественной полноты и яркости, какие мы привыкли видеть в замечательных произведениях литературы. Это недостаток, собственно, исполнения. Но если отбросить в сторону *незыблемые* требования искусства, то мы должны отдать полную справедливость автору за живую, умную и правдивую передачу действительной истории, за прямое и верное указание на существующий, не выдуманный, а присущий русской жизни идеальный образ. Пусть это указание сделано без особенного изящества и одушевления; но мы рады тому, что все-таки указан такой факт, лучше и чище которого не придумывали наши идеализаторы, при всем своем возвышенном настроении.

Кроме «Читальщицы», в книжке «Повестей» помещена «История моего деда», тоже бывшая в «Русском вестнике»[11]. Это история, как сам автор предупреждает, – вроде Дубровского: богатый сосед-помещик заедает бедного, но гордого соседа, напустившись на

него с неправою тяжбою, которую, однако, все оправдывают. Здесь является перед нами весь произвол помещичьей власти в прошлом столетии и все бесправие, беззащитность – не только крепостных, но даже и бедных дворян перед прихотью сильного магната. Рассказ этот составляет «отрывок из записок», и к нему очень идет короткий, сжатый и несколько спешный тон г. Славутинского. Впрочем, даже и здесь иногда, хоть и читаешь нечто вроде хроники, хочется читателю отдохнуть на подробностях, хочется видеть более отчетливое, более внутреннее развитие факта; но это желание весьма редко удовлетворяется. Мы думаем, что именно этому обязаны рассказы г. Славутинского гораздо меньшим успехом в публике, нежели какого они заслуживают.

Третья из напечатанных теперь повестей, «Чужая беда», знакома читателям «Современника»[12]. В ней более живых картин и сцен, движение повести происходит более в самом действии, а не в пересказе автора. Но и в ней заметен тот же недостаток художественной полноты в очертании образов. Личность бога-

того старика Терехина, который насквозь видит все плутни головы и может им противодействовать, но не хочет, не желая вмешиваться в чужое дело, а потом, будучи сам задет за живое, собирает все силы на борьбу с головой, но уже поздно, — личность эта очерчена очень рельефно, и внутренний мир этого старика раскрыт нам автором гораздо больше, нежели душевная жизнь других лиц в его повестях. Но и здесь автор не воспользовался случаем воссоздать в своем рассказе весь процесс образования и развития такого характера и такого особенного отношения одного лица к обществу. Он отчетливо выставил нам Терехина в том моменте, в каком он застал его, намекнул даже на причины, от которых старик сделался таким суровым и несообщительным, но намекнул слабо, в общих чертах, и из повести мы можем *понять*, если подумаем пристально, но не можем осязательно и живо *почувствовать*, как именно и отчего сложился такой характер и каким образом проявляется он во все стороны жизни. Оттого при чтении повести мы почти не имеем руководительной нити и не можем опре-

делить, что именно должен он сделать в таком-то случае, куда он пойдет и до чего дойдет. Узнавши потом из рассказа о его поступке, мы видим, что такой образ действий возможен и естествен; но мы все-таки смутно постигаем его внутреннюю необходимость. Вот отчего повесть не производит такого цельного и глубокого впечатления, какого можно бы ожидать, судя по основной ее мысли и по интересу взятого характера.

Выходит, стало быть, что глубокомысленный критик, о котором мы говорили в начале рецензии, и теперь остается прав с одной стороны: требования искусства не удовлетворяются произведением, в котором выставлена вся правда народной жизни. Но мы смеем думать, что в настоящем случае это – простая случайность, зависящая от личности автора и вообще от недостатка еще в нас того чутья к внутреннему развитию народной жизни, которое так сильно у некоторых писателей наших в отношении к жизни образованных классов. Но никак не решимся мы сказать, чтоб это зависело от самого предмета, никак не согласимся, что искусство должно отка-



заться от простонародных предметов, потому что их полное и совершенное воспроизведение несогласно с его требованиями. Напротив, в повестях же г. Славутинского, особенно в последней, мы видим, что где он не спешит вперед, а отдается своей наблюдательности и останавливается на картинах народной жизни, там у него выходят живые, занимательные страницы, западающие в память и в то же время неподдельно верные действительности, как и весь строй повестей его. И во всяком случае, если уж выбирать между искусством и действительностью, то пусть лучше будут неудовлетворяющие эстетическим теориям, но верные смыслу действительности рассказы, нежели безукоризненные для отвлеченного искусства, но искажающие жизнь и ее истинное значение.

С этой точки зрения, мы находим особенный интерес в повестях г. Славутинского. В них нет даже ни малейшей претензии на эстетические украшения: они просто – верная передача действительных фактов, без прикрас, без натянутостей, без дидактических основ. А между тем в них всегда оказывается и

умная мысль в результате, и логически верное, понятное, хотя и не вполне раскрытое, развитие характеров и объяснение зависимости их от влияния окружающей среды, и, наконец, являются сами собою даже идеальные лица русской жизни, с более живыми и чистыми тенденциями, нежели сочиненные идеалы образованного общества. И все это выходит без нарочитых усилий со стороны автора, просто по силе истины изображаемых предметов. По нашему мнению, писатель, у которого хотя в бледных очерках проявилось так естественно все это богатство русской жизни, заслуживает полного участия публики, еще так недавно интересовавшейся сладенькими идиллиями народного быта. На этом основании мы и остановились так долго над произведениями г. Славутинского, желая указать на их значение нашим читателям.

# Комментарии

В прямых скобках [] приведены те места, которые были изъяты по требованию цензуры из первоначальных журнальных публикаций статей и восстановлены впоследствии в первом издании Сочинений Добролюбова, подготовленном к печати Н. Г. Чернышевским в 1862 г.

[^^^]

Имеется в виду П. В. Анненков, который писал об этом в статье «По поводу романов и рассказов из простонародного быта» («Современник», 1854, кн. II, III).

[^^^]

*...грязный волкан в «Нашем времени».* – Имеются в виду статьи редактора этой газеты Н. Ф. Павлова, в частности его отзыв о «Грозе» А. Островского.

[^^^]

«Сказания русского народа» И. П. Сахарова последним (третьим) изданием печатались в 1841–1849 гг.; книги И. М. Снегирева: «Русские в своих пословицах» – в 1831–1834 гг. и «Русские народные пословицы и притчи» – в 1848 г.; книга А. В. Терещенко «Быт русского народа» вышла в 1848 г.

[^^^]

Роман Ал. Потехина «Крестьянка» печатался в «Москвитянине» в 1853 г.; повесть М. И. Михайлова «Ау» – в «Библиотеке для чтения» в 1855 г., его рассказ «Африкан» – в «Современнике» в 1855 г.; повесть Л. А. Мея «Кириллыч» впервые напечатана в «Библиотеке для чтения» в 1855 г.; идиллия А. Н. Майкова «Дурочка» датирована 1851 г., впервые напечатана в сб. «Для легкого чтения» (т. I, 1856); рассказ М. В. Авдеева «Огненный змей» впервые напечатан в «Отечественных записках» за 1853 г.

[^^^]



Рассказ А. Ф. Писемского «Леший» впервые напечатан в «Современнике» в 1853 г.

[^^^]

*Марфуша* – героиня рассказа А. Ф. Писемского «Леший».

[^^^]

Повесть «Своя рубашка» была напечатана в кн. VI «Современника» за 1859 г.; «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» – в кн. IX.

[^^^]

«Читальщица» Славутинского была опубликована в «Русском вестнике» за 1858 г.

[^^^]

Добролюбов имеет в виду рассказ А. Ф. Писемского «Питерщик» («Москвитянин», 1858).

[^^^]

«История моего деда» Славутинского была напечатана в «Русском вестнике» за 1858 г.

[^^^]

Добролюбов ошибочно назвал повесть «Чужая беда»; действительное название повести «Мирская беда».

[^^^]